

ПОДРАНОК

Весна бьёт во все звонницы. На Оке сошли льды. Изумрудится первая травка. Солнце припекает не на шутку - не по-мартовски.

Мы сидим в парке на скамеечке, я и мой хороший знакомый, пожилой учитель физики из Орловской школы Пётр Михайлович Сиваков. Говорим о раннем паводке, о последней подборке его стихов, опубликованных в местной газете. Пётр Михайлович родом из Белоруссии. Давным-давно переехал в Орёл, но каждый отпуск проводит на родине.

– Не могу, – вздыхает, — лишь запахнет в середине февраля весной, лишь задзынькают сосульки, потянет меня, как старого аиста, в родные края. Посмотреть, буйно ли зацветёт вереск, урожайна ли черника нынче на моих болотах, не перевелись ли плотицы в заросшем купавами прудке.

Грачи горланят в кронах, таскают веточки, подновляют гнёзда. Порой взлетают всей хлопотливой братией, кружат в тёплых ветрах и шумной тучей снова обрушиваются на парк.

Мой собеседник наблюдает за птицами. Вдруг замолкает, словно напоминает что-то из далёкого прошлого. Я не осмеливаюсь нарушить его раздумья.

– Был март, – наконец, вспоминает о моём присутствии Пётр Михайлович, – совсем такой же, как сегодня. Ранний. Звонкий. Разноголосый. Моя шестая весна. Военная...

Мальчик из разорённой войной белорусской деревушки. Подранок... Память его – открытая, незаживающая рана.

– Почти два года прожили мы с мамой в землянке. Фашисты спалили нашу деревушку Груднички. Оставили лишь несколько дворов на безлесом взлобке, подальше от партизан. Разместились в уцелевших хатах и начали вершить новый порядок.

По утрам Федька-староста пробегал с двумя полициями вдоль землянок, выгонял жителей на трудовую повинность – валить лес. И так изо дня в день и летом, и зимой. Боялись партизан, вырубали в округе лес.

Как не бояться-то? Весь край поднялся, вся Белоруссия. Кто стерпит такое зверство? Жутко было жить среди обуглившихся срубков. осиротевших печных труб, среди того пожара, которое для любого из нас сызмальства до каждого плетня, до каждой скворечни было самым дорогим местом на Земле. Бабы ревели, мужики проходили молча, только сжимали крепче ручки топоров. Из мужиков всего-то два

инвалида Первой мировой, а остальные наши – кто на фронте, кто в лесах.

Матушка неделю, как слегла. Ноги её распухли, вокруг глаз ещё сильнее проступили чёрные круги. Одежка мешком висела на обострившихся, и без того худых плечах...

Общая беда сближает людей... Не бросали соседи... Помню деда Трифона... То взвар маме принесёт, то пиреликов на огородах собирает, лепёшек сварганит, мне в карман засунет. Сам – в чём дух держится! Даже землянку вырыть не осилил. Накрыл кое-как валежником вырванную миной ямину, так и жил в ней вторую зиму, как медведь в берлоге...

Не забывала нас и соседка Макарьевна. Правда, была она не в себе после того, как немцы расстреляли её старшенького. Когда фрицы ворвались-таки на улицу Грудничков, засел он на колокольне посередь деревни и снял из дедовой берданы офицера.

Какая ж мать не свихнётся от такого горя?.. Иногда Макарьевна забывалась и принимала меня за своего Стёпушку. Совала в руку печёную картофелину, прижимала к плюшке, от которой пахло гарью и сыростью... Как сейчас вижу её. Стоит перед глазами. Не забудутся, видно, вовек её обгоревшая белокрайка, разбухшая от весенней распутицы, на ладан дышащая обувка - слаженные из милостыни дедом Трифоном чуни.

В тот мартовский день полицай раньше обычного стукнул прикладом в амбарную воротину. Как-то, собирая на погорелье пожитки, матушка притащила её к землянке, приладила вместо двери. «На сход!» - заорал фашистский прихвостень.

Деревенских, согнанных на старую ферму, словно перед забоем овец, оцепили автоматчики. Дед Трифон нащупал мою ладошку в длинном рукаве отцовского ватника и крепко сжал. Толпа тихо переговаривалась.

Были последние дни марта. Ручьи золотистыми ящерками скользили по склону, убегали в ещё заснеженный бор. Пригревало. Федькин Вороной сыто лоснился на солнце. Яблоки навоза, просыпанные вдоль дороги, отогрелись, подымался пар.

На крыльцо вышли два офицера и колхозный счетовод Рудольф Францевич. Один из фрицев возбуждённо загыркал в сторону замерших баб. Автоматчики встали наизготове. Дед ещё сильнее сжал мою руку. «Ты, Петро, зажмурьси», – посоветовал старик.

Я, не понимая ребячьим умишком происходящего, любовался начиненными офицерскими пуговицами, разглядывал непонятные знаки – молнии на красиво подогнанной шинели.

Заговорил Рудольф Францевич: «Господин офицер ищет добровольца, кто бы помог доблестным войскам Вермахта – нашим освободителям, пройти через болота». Толпа заволновалась.

Не раз устраивали каратели облаву на засевших в толях партизан. Но все попытки оказывались бесполезны. Как рвали железку, так и продолжали рвать.

«Пять минут на размышление», – взвизгнул переводчик. Бабы молчали. У каждой второй ещё в начале войны муж подался в леса. Как могли они сдать отцов своих детей?

Прошло пять минут... потом ещё пять... Никто не сделал шаг вперёд, не поднял руку, не подал знак. Не было и не могло быть среди истерзанных работой, почерневших от голода и стужи, предателей.

Офицеры заговорили меж собой. Дед Трифон, побывавший в Первую мировую в австрийском плену, прислушался: «Об нас гуторють... Рыжий всех порешить удумал. А энтот, что в очках, супротив пошёл... Чья возьмёт, такая и наша планида станется».

Казалось, бабы от страха ещё сильнее потемнели. Сгребли детей, прижали к себе. Спор затягивался, офицеры ушли в хату.

Народ онемел. Зачуяв неладное, дети притихли, уткнулись в подолы матерей. Вдруг стоявшая в середине толпы Макарьевна, не выдержала и начала пробираться вперёд. Бабы сомкнулись плотнее, сберегая ополоумевшую от беды, ждали, не позволили протиснуться...

Ещё двадцать страшных минут стояли мы под прицелами автоматчиков.

Офицеры спустились с крыльца, за ними семенил счетовод Рудольф Францевич, выкрикивая: «Вам предоставляется возможность доказать свою преданность Великому Рейху. Работать, пока не выпилите свои проклятые леса! Отправляйтесь за инструментом!»

– Выкусил? – зло сверкнул на счетовода дед Трифон, – испокон веку на земле нашей такого не водилось, чтоб своих сдавать, холуй ты паскудней!»

...Весна надавала. Проклюнулся апрель.

С ватагой пацанов я бегал на пепелище. Рубил лапник, наваливал недогоревших хархаров, устраивал под сосенкой лежанку. Дед Трифон помогал выводить обессилевшую маму. Укладывали, прикрывали. Она всё никак не могла согреться. Даже под палящим солнцем её не покидал озноб.

Уже замуравилась лужайка перед нашим убогим жилищем. Показался первый щавель. Ребятня набивала голодные желудки травой. Хворала.

Схоронили Макарьевну... Не уследили-таки: кинулась с топором на полиция, приставленного к вырубке сторожевым псом. Полоснул из автомата – не моргнул... Детей разобрали соседи.

В ту пору подружились мы с Макарихиным Колькой. Лет на пять постарше меня, ловкий такой, смышлёный. Тощий, чёрный, словно грачонок. День-деньской лазали по лесу: то ягод сухих собираем, то белочки ореховые схроны разорим. Всё никак не могли наесться.

Как-то прибегает Колька спозаранку.

– Петрусь! Айда на охоту!

– Какая охота! – отвечаю, – до ветру выйти сил нет.

– Околеешь, коли со мной не пойдёшь!

– Чем охотиться-то?

– А во! – и вынимает из-за пазухи две свежеструганные рогатки.

– Ишь, чего удумал! Кого эдаким орудием подобьёшь? – сопротивляюсь.

– В Параськины раKITки смотаемся. Там грачей – тьма тьмущая! – не сдаётся Колька.

– Спятил с голодухи! У неё немцы на постое!

Тяжело застонала мама.

– Чего раздумываешь? – Колька кивнул в её сторону. – Аль с осени закормлены?

Поправив под болезной тюфяк, прикрыв получше фуфайкой, я зачерпнул воды, поставил с нею рядом.

– Ну, Кольша, гляди! Споймают – не сдобровать!

... Снег давно сошел, и солнце подсушило пожарище. Ветер веял пепелище, гонял прогоревшие головешки. Деревенскими задами пробрались к Параськиному двору. По пути завернули на ручей, набили галькой карманы.

За бакшой плотным забором громоздились раKITки. Пожар сюда не дотянулся, лишь слизал край ореховой горожи. В эту дыру мы и пронырнули.

Грачи только просыпались. Переговаривались, взлётывали, осматривали окрестность, возвращались в гнёзда. Мы засели в прошлогодних чернобыльях.

– Грачихи худые, без приварку – высиживают, редко слетают. Бей по грачам, – учил Колька.

Прошло немало времени, прежде чем наострились пулять. Зачуяв недоброе, грачи облетали нас и с недоступной стороны заходили на посадку. Наконец, Колька умудрился подбить первую птицу. А потом изловчился – и ещё двух. А у меня охота не клеилась. Шесть лет – дитя малое!

– Возьми-ка, – друг протянул подстреленного грача. – Не горюй, Петро! Ещё и яичек собираем!

... Во дворе закопошились фрицы. Дебёлый повар крутился вокруг полевой кухни, готовил обед. До тошноты пахло тушённой.

Усевшись на порожки, молодой немец наигрывал на губной гармошке. Из-под горы к Параськиному двору потянулись грузовики. Выгружались солдаты, пили из колодезной бадьи, умывались с дороги, готовились к обеду.

– Каратели! Снова облаву задумали, сволочи, – сплюнул Колька, – надо свистнуть нашим.

– Может, хватит? Пора удирать! Завтра ещё разок заглянем.

– Щас! Я мигом! Ты пригнись пониже, посиди минутку. С той стороны ракетки взберусь. Толстенная, не заметят, – заспешил пацан.

Подкинув мне своих грачей, быстро полез вверх по стволу. Дотянулся до гнезда, выгреб яйца, положил в котомку. Рядом ещё гнездо, и ещё, и ещё!

Колька, словно хищник, опустошал гнёзда. Грачи, не выдержав вероломства, спохватились, застонали.

– Партизанен! Партизанен! – послышалось с усадьбы.

Колька белкой метнулся вниз. Раздались выстрелы. К ракеткам бежали фашисты.

– Тикай, Петро! Ти... – только и успел выкрикнуть парень.

Автоматная очередь оборвала его на полуслове. Колька рухнул в бурьян и из последних сил протянул мне котомку. На Макарихиной душегрейке, в которой он ходил после материной гибели, заалела кровь. Вдоль и поперёк была она прошита пулями, лохмотьями выбивалась окровавленная вата.

Глаза друга погасли. Ничего не соображая, я протянул руку навстречу Колькиной, схватил котомку и помчался к прорехе в гороже. Нырнул в неё и - к обрыву. Кубарем – вниз, через ручей и в лес!

Позади – переполох: орали грачи, гыркали немцы. В Параськиных ракетках остался мой друг Колька...

Я бежал и бежал, пока, наконец, обессилев, не упал в довоенный омшаник. В моей котомке лежали три чёрные злосчастные птицы. В Колькиной – размелюженные грачиные яйца. Долго не решался в неё заглянуть. Под вечер голод взял своё. Всхлипывая, растирая по лицу грязными ладонями слёзы, выбрал скорлупки из сумки. Склонился и выхлебнул скользкое желтоватое месиво.

Два яичка оказались целыми. Свернув кульком лопух, уложил в него драгоценность. Подобрал обмякших грачей и по сумеркам прокрался к врывшимся в землю грудничкам.

Подполз к своей землянке, отворил дверь, прислушался... Тишина...

– Мама! Мама! Посмотри, что я принёс! – бросился к маме, протянул на ладошке два крохотных яичка.

Мама пошевелила рукой, видно, захотелось напоследок меня пожалеть...

Разбив яйца в алюминиевую кружку, недавно разысканную на останках нашей хаты, я поднёс её к маминым губам.

– Чуток пораньше бы... голубь мой... – еле слышал угасающий голос.

... На другой день дед Трифон оципал грачей. В чугуне на костре сварил похлёбку... На помин.

Собрались соседи. Маму завернули в обгоревшую штапельную занавеску с нашей припечки, отнесли к лесу... на новое кладбище. Старое во время боя разворотили фашистские танки. Уж и на новом виднелось столько крестов! Полдеревни легло на нём за два года.

Яму выстлали лапником, опустили маму. Сверху насыпали гору вереска... Любила мама пору, когда цвёл вереск.

«Помянем рабу Божью Матрёну», – пришедших позвал дед Трифон ко мне в землянку.

...Ещё издали, выходя из лесу, заметили на взгорке виселицу. Фашисты повесили моего друга Кольку ... Уже мёртвого... На шее – доска. Крупными корявыми буквами – «Партизан»... На устрашение...

Через месяц наши отбили мою, выжженную дотла, деревушку. Партизанский отряд проходил вдоль улицы. На одной из печных труб аисты обустроили гнездо, из него выглядывали два птенца.

– Наладится... Всё наладится! – кивнул мне командир. – Держись, малец!



Белоруссия, деревня Груднички. 1941 год.
Слева от дороги место, где стоял дом Пети